

Л. А. Мальцев, И. Д. Кошцев

**«ДАР МЕТКОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ В РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ»:
ОБ ЭССЕИСТИЧЕСКОЙ «СИЛЬВИЧНОСТИ» ПОЛЬСКОЙ ПРОЗЫ**

Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград, Россия

Поступила в редакцию 06.05.2025 г.

Принята к публикации 21.08.2025 г.

doi: 10.5922/vestnikpsy-2025-4-7

68

Для цитирования: Мальцев Л. А., Кошцев И. Д. «Дар меткого высказывания в разговорной речи»: об эссеистической «сильвичности» польской прозы // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Сер.: Филология, педагогика, психология. 2025. №4. С. 68—79. doi: 10.5922/vestnikpsy-2025-4-7.

Изучается эссеистическая традиция старопольской прозы, представленная авторами эпох Возрождения (Рей, Гурницкий, Моджевский), барокко (Пасек, Б. Хмельвский), Просвещения (Красицкий). Создателем польского эссеистического канона был Миколай Рей как автор книги «Зерцало», которую Мицкевич сравнил с «Опытами» Монтеня. Рассматривается роль эссеистического начала в литературных дневниках польских писателей XX в. (Анджеевский, Гомбрович, Герлинг-Грудзинский). Констатируется, что традиция польской эссеистики, охватывающая Новое и Новейшее время, основывается на доминировании «жанрового блока *silva*» (С. Скварчинская), генезис которого в мировом литературном контексте восходит к Античности, а в постклассический период знаменует собой новый этап литературного самосознания, в котором использование «сильвических» форм приобретает характер художественной игры с читателем. В «Дневнике» Гомбровича старопольские формы «*silva rerum*» представлены в пародийном аспекте. «Дневник, писавшийся ночью» Герлинга-Грудзинского как собрание комментариев по поводу прочитанного сохраняет в себе жанровую память «*lucubrations*» — ночных «размышлений», представленных в творчестве философа поздней Античности Авла Геллия.

Ключевые слова: эссе, «*silva rerum*», старопольская литература, современная польская литература, дневник

Знакомя американских студентов с историей польской литературы, Чеслав Милош выделял в качестве доминирующего фактора ее развития большую склонность «к поэзии и театру, чем к романистике» [14, s. 11]. Кроме того, Милош скептически воспринимает традиционные суждения о романтизме как о «сердце» польской литературы, а также о влиянии католицизма на польское сознание, напоминая, что в период возникновения польской письменности — в эпоху Возрождения — Польша «была в значительной мере страной протестантской, “раем для еретиков”» [14, s. 11]. Последствия этого историко-культурного факта были, по мнению Милоша, весьма значительны для последующей «цепочки» исторической и культурной хроники: «...наследие интеллекту-



ального бунтарства никогда не было утрачено: через публицистов Просвещения и демократов девятнадцатого века оно было передано либеральной интеллигенции нашего времени» [14, s. 12]. Как следствие, основной идейной «константой» польской литературы Милош считает «дихотомию... эмоционального морализма, явно подпитываемого христианской этикой, с антиклерикализмом и крайним скептицизмом по отношению к каким-либо догматам (как религиозным, так и политическим)» [14, s. 12].

Поскольку в качестве исходного пункта Милош называет эпоху Возрождения и явно следует за Бердяевым, который в статье «Духи русской революции», наряду с немцем и русским, охарактеризовал менталитет француза (последний, согласно русскому философу, является «догматиком и скептиком, догматиком на положительном полюсе... и скептиком на отрицательном» [2, с. 80]), то в подтексте констатирующего суждения Милоша об особенностях исторического пути развития польской литературы скрывается диалог с Монтенем, который был не только создателем жанра эссе, но и своеобразным эталоном французского интеллектуала-скептика.

Известна жанровая склонность самого Милоша к эссеистике, а также к смешению эссеистики с поэзией в виде стихотворных поэм-«трактатов». Примечательно в этой связи хотя и несколько утрированное, но не лишённое своих резонов историко-литературное наблюдение Милоша о том, что польская литература, в отличие от русской, не создала в XIX в. собственной школы «великого романа», с чем Милош связывает сильную тенденцию к эссеизации польской прозы. Характеризуя в «Истории польской литературы» польскую прозу 1918–1939 гг., Милош пишет: «Излюбленная польской читательской публикой небеллетристическая проза занимала в польской литературе значительное место, вторгаясь часто в районы, зарезервированные в других странах для беллетристики» [14, s. 502], а в интервью Сильвии Фролов он заключает: «Век XIX был веком романа по всей Европе. России удалось создать великий роман, чего в Польше не было. Наша литература — это прежде всего поэзия, драма, а также мемуары, дневники, эссе» [15, s. 272].

«Старшинство» эссеистики по отношению к жанру романа — историко-литературный факт, определившийся в эпоху Возрождения, когда помимо латиноязычных трактатов на общественные и моральные темы вышли в свет две прозаические книги на польском языке — «Польский придворный» Лукаша Гурницкого (1566) и «Зерцало» Миколая Рея (1567–1568). Оба произведения написаны в жанре «зеркала» (*speculum*) — дидактической «энциклопедии», в которой в назидательной и одновременно популярной форме излагается свод правил, представляющий достойный образ жизни и поведения человека, принадлежащего к определённому социальному кругу. В качестве образца для обоих произведений ранней польской прозы послужила книга итальянского гуманиста Бальдасарио Кастильоне «Придворный» («*Il Corteggiano*»), написанная в 1528 г. «Польский придворный» («*Dworzanin polski*») Лукаша Гурницкого является не чем иным, как вольным переложением этого произведения Кастильоне. Произведение Миколая Рея



«Зерцало» обнаруживает следы того же влияния, хотя отличается большей степенью своеобразия. По словам Станислава Виндакевича, литературное творчество Рея было смешением философии и беллетристики: «наполовину философствуя, наполовину забавляясь» [21, s. 11], Рей писал сочинения стихами и прозой без отрыва от привычных помещичьих дел. Его дидактическое произведение, полное название которого — «Зерцало, или Образ, в котором каждое сословие без труда может к своим делам как в зеркале присмотреться» (*«Żwierciadło albo Kształt, w którym każdy stan snadnie się może swym sprawom jako we zwierciadle przypatrzeć»*), С. Виндакевич называет «наиболее зрелым и социально значимым трудом, написанным — может быть, за побуждением “Придворного” — во вкусе тогдашних руководств для людей разного положения и жизненного призвания» [21, s. 11].

Соотечественники считают Рея «отцом» польской прозы и его же, с легкой руки Мицкевича, называют славянским Монтенем. «Его произведения, похоже, происходили из того же самого духа, что произведения прославленных писателей эпохи, Кастильоне и Монтеня» [13, s. 472], — утверждал Мицкевич в «Славянской литературе». По Мицкевичу, как в Кастильоне и Монтене, в Рее соотечественники, даже критически к нему настроенные, признавали «дар меткого высказывания в разговорной речи» [13, s. 469], «талант выражения в простой и легкой форме возвышенных мыслей и глубоких чувств» [13, s. 472]. Конечно, существует огромная разница между автором «Зерцала», дающим совокупность вполне конкретных практических советов по поводу того, как должен прожить свою жизнь «человек почтенный», выходец из круга поместной польской шляхты, и автором «Опытов» — мыслителем релятивистского толка, полагавшим, что «разными средствами можно достичь одного и того же» [6, с. 36]. Однако для Мицкевича как автора парижского курса лекций подобная аналогия является осознанной стратегией, заключающейся в том, чтобы создать литературе славянской, в первую очередь польской, репутацию литературы равноправной по отношению к романским и германским. Давая обзор творчеству Рея, подобный прием использует Милош: «Поиски правил хорошей жизни, какие находим у Монтеня во Франции, склонили Рея написать частично стихами, частично прозой “Зерцало”» — «свободно текущую медитацию, наполненную бесчисленными цитатами из Библии и классической литературы» [13, s. 81].

Сравнивая Рея с Монтенем, Мицкевич признает нехватку эрудиции у своего соотечественника: «Польский шляхтич не так начитан, как французский дворянин. Читали они одни и те же книги; охотно пользовались краткими изложениями, сборниками анекдотов, выдержками из философских трудов, но Монтень лучше знает классических писателей, в особенности поэтов; да и вся его книга — это удивительная мозаика рассказов, анекдотов, вплетенных в весьма оживленное повествование; есть в ней легкость, непринужденная свобода занимательного собеседника» [13, s. 474]. Однако недостаток начитанности компенсируется у Рея, согласно Мицкевичу, тем, что, в отличие от Монтеня, польский автор «очерчивает общий план, дает философскую систему; по-



сколько он искреннее, у него больше веры, хотя он и протестант» [13, s. 475]. Здесь проявляется основная антитеза «Славянской литературы» Мицкевича, заключающаяся в том, что славянская душа в большей степени религиозная и эмоциональная, нежели это свойственно рационалистической душе западного человека. Основным моральным рецептом Рея — «укроти естество» («uczyn gwałt przyrodzeniu» [18, s. 212]) — опирается на необходимость соблюдения Моисеевых десяти заповедей. Но, несмотря на необходимость «укрощения естества», природное начало также сильно в образе жизни «человека почтенного» по Рею, о чем свидетельствует не лишнее поэтичности описание посезонных сельскохозяйственных занятий в отрывке книги под названием «Год на четыре части разделен» («Rok na cztery części rozdzielon» [18, s. 292]). Согласно Мицкевичу, «француз живет только книгами и самим собой. Поляк живет природой и Библией. Рей берет все сравнения из природы и Библии; от родной земли он черпает образы и их переносные значения; у него глубокое чувство природы, которое отсутствует у Монтеня» [13, s. 478]. Милош, следом за Мицкевичем, также говорит о «чувстве природы» в творчестве Рея. Однако последнее становится для Милоша доказательством не цельности Рея, а его антиномичности, что создает менее идеализированный, зато более реалистичный образ «отца» польской прозы: «Рей является странным сочетанием рассогласованных тенденций. Прославляя разум как доминирующую силу в человеке, он, несомненно, уместается в русле главного течения эпохи. Но хаотическое богатство его чувственной натуры мешает ему удержать свой стиль в строгих рамках, что отличает (Рея. — Л. М., И. К.) от современных ему гуманистов...» [14, s. 82].

Характерная тенденция, связанная с рассогласованностью в польской душе природного и рационального начал, проявляется в доминировании форм письменности, именуемых «сильвическими» (от *silva rerum* — «лес вещей» (лат.)). «Сильвической» форме в польской литературе положил начало латиноязычный писатель, автор известного во всей Европе политико-публицистического трактата «Об исправлении Речи Посполитой» («De Republica emendanda», 1551) Анджей Фрыч Моджевский, после смерти которого в 1590 г. вышел в свет сборник эссе на богословские темы под названием «Четыре сильвы» («*Silvae quator*»), написанный в 1565 г. В работе, посвященной литературной карьере жанровых форм *silva* (1969), Стефания Скварчиньская прослеживает генеалогию «сильвических» форм письменности в прозе и стихах, восходящих к Античности и ренессансному гуманизму, а также указывает на диалектику литературного развития, проявляющуюся в том, что рядом с классицизирующим стремлением к порядку и дисциплине формируется барочная по духу эстетика *varietas*, заключающаяся в неограниченной множественности поднимаемых тем и, в связи с этим, ничем не ограниченной авторской свободе перехода от одной темы к другой, а следовательно — в поэтике «открытого» произведения. «Мы имеем тут дело с первой в письменности открытой формой, разумеется, еще в состоянии примитивном», — утверждает С. Скварчиньская [20, s. 43]. Восходящая к Цицерону, Квинтилиану, а также к Юлию Цезарю Ска-



лигеру метафора *silva rerum*, традиционно интерпретируемая как «набросок» или «черновик», нашла себе стабильное место только в польской терминологии, но не встречается в иноязычных словарях и энциклопедиях. С. Скваичиньская уточняет:

...Жанровое наименование *silva rerum* относится к многочисленным от XVI до середины XVIII века, и знаменательным для шляхетско-помещичьей культуры, внушительным и, в принципе, не предназначенным к печати фолиантам, ведущимся главой семейства, часто из поколения в поколение. Их содержимое составляли изначально записи событий общественной, светской и семейной жизни... а с другой стороны, вписываемые (в эту хронику. — Л. М., И. К.) от случая к случаю тексты, различные по тематике, значимости, форме и жанровому характеру, анонимные, чужие и собственные, сбиваемые, в совокупности, в анонимную массу. Сосуществовали рядом друг с другом произведения на польском и латинском языке, в прозе и стихах, короткие, средние и длинные, а также отдельные фрагменты; переплетаясь, стояли в одном ряду тексты речей на сеймах и сеймиках, речей свадебных и похоронных, разного рода документы по политическим, а также имущественным и торговым вопросам, счета и реестры, хозяйственные записи и предписания, письма, панегирики и пасквили, анекдоты по случаю и шутки, эпиграммы и фразы, теологические заключения, любовные и религиозные песни, сатиры и даже диалоги [20, s. 40–41].

Традицию «сильвичности» С. Скваичиньская далеко не без оснований прослеживает вплоть до новейшего периода развития литературы, что проявляется в популяризации таких жанров, как дневник, мемуары, эссе, отражающих приоритет многообразия форм и открытости живой речи перед логическим единством скристаллизованного текста. Среди примеров «сильвизации» прозы в период Нового времени исследовательница приводит «жанровую карьеру» эссе, началом которой послужило творчество Мишеля де Монтеня: «Связываемые обычно с философской тематикой, а в ее рамках с моральной и религиозной, “прозаические *silvae*” стали на основании присущей им свободы восприятия темы и лишенной ригоризма композиции колыбелью не только нового жанра — эссе, но и ренессансного метода философского высказывания, эссеистического метода, санкционированного “Опытами” Монтеня» [20, s. 68]. В подобном духе говорил о книге Монтеня в цитируемой выше «Славянской литературе» Адам Мицкевич: «По отношению к догмату он [Монтень] был всегда правоверен, но во второстепенных вопросах позволял себе писать, вернее, непринужденно беседовать с читателем без конца. Он размышляет обо всем, что ни приходит ему в голову, поэтому его произведение порождает хаос, в котором все партии ищут себе оружие, все взгляды находят поддержку» [13, s. 474].

«Сильвизация» польской прозы, сказывающаяся в жанровой, тематической и стилистической «пестроте» текстов, проявляется в эпоху барокко. Самым показательным примером являются «Паментники»¹ Яна Хризостома Пасека, написанные в 90-е гг. XVII в. Фрагментарным зачи-

¹ «Pamiętnik» (польск.) — «мемуары».



ном этого «сильвического» мемуарного текста выступает стихотворная эпитафия боевому коню автора по кличке Дереш. Помимо стихотворений, жанровый состав «лоскутного» сочинения Пасека образуется письмами, публичными речами, историями анекдотического характера, песнями. Польская разговорная (сказовая) речь «Паментников» перемежается с макароническими конструкциями — латинизмами, усиливающими впечатление «сильвичности» на уровне стиля. Язык «Паментников» оказал огромное влияние на развитие традиций польской прозы, в том числе реалистического романа XIX в. («Огнем и мечом» Сенкевича).

В упоминавшейся выше статье С. Скварчиньской говорится также о том, что в эпоху Античности (начиная с «Естественной истории» Плиния Старшего) и Ренессанса сформировался противоположный «жанровому блоку *silva*» жанр энциклопедии, порожденный стремлением к универсальности и системности знания: одним из разновидностей энциклопедии является вышеупомянутый дидактический поджанр «*speculum*»-«зеркала». Стремление к энциклопедизму отражает предпросветительские тенденции в европейской культуре и, в частности, в польской литературе раннего Нового времени. Однако в 1745 г. появилась не лишенная барочных признаков «сильвичной» фрагментарности польская энциклопедия Бенедикта Хмелёвского: ее полное название — «Новые Афины, или Академия, полная всяческих знаний, по разным названиям как по классам разделенная, умным для запоминания, идиотам для науки, политикам для практики, а меланхоликам для развлечения предназначенная» («*Nowe Ateny albo Akademia wszelkiey sciencyi pełna, na różne tytuły, iák ná classes podzielona, mądrym dla memoryału, idiotom dla náuki, politykom dla práktyki, melancholikom dla rozrywki erigowana*»). Несмотря на жанровое задание энциклопедии, труд Хмелёвского слабо связан с идеологией и философией Просвещения, представляя картину мира, основанную в большей степени на предрассудках и даже суевериях, чем на научно проверенном знании. Характеризуя «Новые Афины», Милош в «Истории польской литературы» иронически замечает, что они являются диагнозом невысокой степени просвещенности и высокой степени эклектизма познаний польской читательской публики первой половины XVIII в., превратившей труд Хмелёвского едва ли не в «бестселлер»: «Это был альманах, дающий ответы на серию проблем практического свойства, вроде того, как предотвратить сонливость: “Ласточкин глаз положив в чью-то постель, сна лишишь (спящего на ней. — Л. М., И. К.)... хорошее средство против сонъ”» [14, s. 184]. Противоположная оценка сочинения Хмелёвского дана уже в наше время другим польским Нобелевским лауреатом — современной писательницей Ольгой Токарчук, автором «Книг Якова» (2014), представляющих собой сплав энциклопедии и романа в «сильвическом» духе. В послесловии к «Книгам Якова» Токарчук пишет о том, что энциклопедия Хмелёвского может считаться одним из прообразов интернета, направившего литературное развитие XXI в. в новое, но, по сути, хорошо забытое старое русло: «Множество радостных мгновений принесла мне работа над фигурой ксендза Бенедикта Хмелёвского, ро-

гатинского декана, впоследствии киевского каноника, первого польского энциклопедиста. <...> Уверена, что ксендз Хмелёвский испытал бы удовлетворение, узнав, что его идея — знания, доступные всем и в любой момент, — была реализована спустя двести пятьдесят лет после его смерти» [9, с. 16–17].

Обилие «сильвических» и присутствие энциклопедических форм в старопольской письменности XVI и XVII вв. контрастирует с основной лакуной жанровой системы польской литературы — запоздалым развитием романа, который сыграл в литературе Нового времени роль «центрального» жанра. Первый пример польского романа — «Случаи Миколая Досвядчиньского» Игнация Красицкого — относится только к 1775–1776 гг. Он представляет собой контаминацию жанровых схем западноевропейского просветительского романа XVIII в.: романа воспитания, «философской повести», утопии, «робинзонады» — и выражает систему просветительских взглядов на мир и человека. Игнаций Красицкий — характернейший представитель энциклопедизма польского «извода», о чем косвенно свидетельствует созданный им труд «Собрание нужнейших сведений» («Zbiór potrzebniejszych wiadomości», 1781–1783).

Возрождение форм «сильвичности» и связанную с ним вторую волну эссеизации польской прозы необходимо отнести уже к новейшему периоду развития польской литературы. В 1984 г. вышла в свет монография Рышарда Ныча «Современные сильвы» («Sylwy współczesne»), в которой исследуемый феномен античной, ренессансной и барочной письменности теоретически адаптирован к специфике XX в. как «тип современной литературной формации» [17, с. 6] и «форма внутреннего самопознания литературы» [17, с. 149]. Одной из экспериментальных «площадок» по «сильвическому» игровому скрещению разнородных жанровых схем становится дневник. Наиболее отчетливо об архаической генеалогии этого жанра пишет Ежи Анджеевский в дневнике «День за днем» (1972–1979): «Меня манит и притягивает что-то наподобие старопольских записных книг, чтобы... все бросить в один мешок... пусть все это... сплетется, перемешается и загустеет, чтобы этой польской записной книгой на рубеже XX века не руководили ни один заведомо определенный порядок и ни одна окончательная цель...» [10, с. 34]¹.

Поэтика «жанрового блока *silva*» (С. Скварчиньская) ярко проявляется в «Дневнике» (1961–1969) Витольда Гомбровича. В предисловии к 1-му тому «Дневника» приводится суждение, уместное по отношению к любой книге, написанной в «сильвической» манере: «Дневник этот — писанина довольно беспорядочная, с одного месяца на другой, — наверняка не раз повторяюсь, не раз себе противоречу. Упорядочить это? Причесать? Предпочел бы, однако, чтобы не было все это слишком прилизано» [11, т. 1, с. 5]. Подобное предупреждение не чуждо традициям старопольской письменности, примером чему могут быть «Четыре сильвы» Моджевского. «Вижу сам, — пишет этот автор XVI в., — что

¹ О поэтике «сильвичности» Ежи Анджеевского см. подробнее: [4].



в произведении много таких мест, которые нуждаются в обработке и выглаживании... Но, так и быть, выпускаю в свет книги скомканные, несовершенные, написанные в спешке, поэтому даю им название "Сильва"» [16, s. 42]. Авторы произведений «сильвического» типа часто говорят не только о необработанности, но и о заведомой бесцельности подобных писаний, однако Гомбрович в «Дневнике» прямо заявляет одной из целей своего сочинения провокативное высмеивание, пародирование польских традиций, польской «формы»: «Сто лет назад литовский поэт (Мицкевич. — Л. М., И. К.) выковал форму польского духа, сегодня я, как Моисей, вывожу поляков из несвободы этой формы, поляка из него самого вывожу» [11, t. 1, s. 59]. Как известно, борьба с польской «формой» велась Гомбровичем посредством пародизации старопольско-сарматского стиля, примером чему может быть роман «Транс-Атлантик» (1951), построенный в форме квазимемуаров, как стилизация уже упомянутых «Паментников» Яна Хризостома Пасека. О XVIII в., то есть об эпохе правления саксонских курфюрстов, предшествовавшей разделам Речи Посполитой, Гомбрович пишет как о периоде кризиса старопольско-сарматского стиля и вместе с тем упущенной возможности более глубокого самопознания польской «формы»:

И отсюда авантюра неслыханная, которой был XVIII век... который оставил нас с глазу на глаз с нашим уродством, разболтанностью нашей... век склеротического, старческого окостенения и одновременно тупой разнужданности, когда из-за разрыва между формой и инстинктом открылась бездна... самая глубокая, которая когда-нибудь открывалась нашей сельской душе [11, t. 1, s. 354].

Диссонанс между традиционной польской «формой», со времен Миколая Рея пропитанной духом благообразия сельских «трудов и дней», и неистовством западной «фаустовской» цивилизации определяет стратегию автокреации Гомбровича, который, с одной стороны, выставляет напоказ самокомпрометирующий имидж провинциального и старомодного шляхтича из «золотого века» Речи Посполитой, но с другой — показывает, как «почтенный польский шляхтич» оказывается перед «вызовами» западноевропейской цивилизации, далеко ушедшей от состояния идиллической безмятежности. Вместе с тем выдвижение на передний план образа «почтенного шляхтича» а Іа Миколай Рей может послужить стратегией пародирования современной западной интеллектуальной жизни:

Читая мой дневник, какое складывается впечатление? Разве не такое, будто бы некий селянин из Сандомирщины приходит в дребезжащую и вибрирующую фабрику и гуляет по ней как по собственному саду? Вот раскаленная печь, в которой фабрикуются экзистенциализмы, вот Сартр из расплавленного олова стряпает свою свободу-ответственность. Вот мастерская поэзии, где тысяча рабочих, истекающих семью потоками, в движении раскрученных пленок и шестеренок, производят операцию острейшим электромагнетическим ножом на все более твердом материале... Вот доменная печь католицизма. А чуть поодаль завод марксизма, вот молот пси-



хоанализа, вот артезианские колодцы Гегеля и феноменологический станок... А я хожу себе среди этих машин и изобретений с рассеянной миной и вообще-то без особого интереса, совсем как по своему деревенскому огороду [11, т. 1, с. 145].

Не отрицая свою польскую идентичность, Гомбрович манифестирует скептическое отношение к национальным стереотипам, обусловленное тем, что он как писатель имеет «генеалогию» «от Монтеня» и, следовательно, «вошел в литературу под знаком бунта и провокации» [11, т. 1, с. 301]. Эпатажная провокативность Монтеня проявляется во вступлении к «Опытам», в котором он заявляет, что выступает не как политик и проповедник, а как частное лицо, поэтому: «Если бы я жил между тех племен, которые, как говорят, и посейчас еще наслаждаются сладостной свободой изначальных законов природы, уверяю тебя, читатель, я с величайшей охотой нарисовал бы себя во весь рост, и притом нагишом» [6, с. 35]. У Гомбровича в «Дневнике» есть подобный пассаж с провокативным заданием: «Никогда ни с кем я не вступил в поединок, кроме как предварительно сняв с себя все чины и эполеты, и вообще не написал ни одного слова, кроме как в костюме Адама» [11, т. 2, с. 282]. Подобным и Монтеню, и Гомбровичу по своей литературной «конституции» был эссеист русского серебряного века Василий Васильевич Розанов¹, утверждавший следующее: «И я, который наименее опубликовывался уже в печати, сделал еще шаг вовнутрь, спустился еще на ступень вниз против своей обычной “печати” (халат, штаны) — и очутился, “как в бане нагишом”, что мне было совсем не трудно» [7, с. 250]. Книги Розанова «Уединенное» и «Опавшие листья» являются одной из параллелей типу эссеистической прозы, называемой в польской традиции «сильвической». Об этом свидетельствуют наблюдения А.Д. Синавского, назвавшего «Опавшие листья» даже отдельным «жанром», причем жанром «уникальным» [8, с. 111], сугубо «розановским»: «Розанов между делом и где угодно: в гостях, на извозчике, на вокзале, на улице и т.д. — кое-что записывал из того, что его занимало в данный момент. Записывал на отдельных листочках, которые затем бросал в общую кучу... Строго говоря, это книга из мусорной корзины. Книга без замысла, без предварительного сюжета, без цели. И вместе с тем книга о самом себе, более чем какая-либо другая книга прилегающая к душе и к телу писателя» [8, с. 112]. Изобретенная А.Д. Синавским жанровая номинация прозы Розанова — «лирическая газета» — как нельзя лучше передает сродство поэтики Розанова с «жанровым блоком *silva*», зиждущимся, по С. Скварчиньской, на «шатком равновесии» [20, с. 44] между экстравертным и интровертным психологическими типами: «“Опавшие листья” — это чисто документальный жанр, граничащий с газетной информацией. Но через крайнюю интимность материала и интимность подачи этого материала газета здесь обращается в лирику, в лирическую прозу» [8, с. 146].

¹ См. также сравнительное-сопоставительное исследование прозы Розанова и Гомбровича [3].



Иной модификацией эссеистической «сильвичности» является «Дневник, писавшийся ночью» («Dziennik pisaný nocą», 1971 – 2000) Густава Герлинга-Грудзиньского. Название «...писавшийся ночью» содержит фактографическое указание на временные обстоятельства ведения записей, что автор озвучивает в интервью Эльжбете Савицкой: «Я пишу “Дневник” ночью, то есть набрасываю его начерно, а утром следующего дня принимаюсь за шлифовку» [19, s. 136]¹. Во многом «Дневник, писавшийся ночью» состоит из заметок на полях прочитанного — авторской рефлексии по поводу художественных, документальных, публицистических, философских и научных сочинений разных времен. Также «сильвическую» «ткань» «Дневника...» образуют «картинки» городской и загородной жизни, путевые очерки, автобиографическо-мемуарные тексты, искусствоведческие этюды, рассказы. «Акцент» «Дневника...» на разносторонний читательский опыт, как и само название произведения, типологически соотносит его с традициями поздней Античности. О соответствующей разновидности «сильвы» под названием *lucubrationes*, представленной Плинием Старшим и Геллием, пишет С. Скварчиньская как «о типе произведений, возникших за счет бессонных ночей, при свете лампы», как о своеобразных «“эксерта” из чужих произведений, “выписках”» [20, s. 55]. В предисловии к книге «Аттические ночи» Авл Геллий говорит о бессистемных записках, которые «забавы ради» он вел «долгими зимними ночами». Само название книги отражает простоту и невзыскательность формы: «...небрежно, незатейливо и даже несколько грубовато... по самому месту и времени ночных бдений назвали [наш труд] “Аттические ночи”» [1]. Также в предисловии Геллия говорится о том, что подобная «сильва» не имеет четкой логической концовки и может быть прервана только со смертью автора: «...число книг будет с помощью богов продвигаться вперед по мере продвижения вперед [дней] самой жизни, пусть они и будут совсем немногочисленны, но я не хочу, чтобы мне был дан более долгий срок жизни, чем [тот], пока я еще буду способен к писанию и составлению комментариев» [1]. Принцип пожизненного ведения «сильвы»-*lucubrationes* соблюден в «Дневнике, писавшемся ночью». В предисловии к 10-му тому своего Собрания сочинений (1997) Герлинг-Грудзиньский пишет следующее: «Оборву ли писание дневника и сросшихся с ним рассказов в конце 1996 года? Если судьба не вырвет пера из моей руки, то, конечно, мой дневник, типичный *work in progress*, будет иметь продолжение» [12, t. 10, s. 6]. А в предисловии к 11-му тому (2000) дополняет сказанное: «Особенность дневника в том, чтобы продержаться до конца, до момента, когда уж, в самом деле, нельзя будет удержать перо в руке» [12, t. 11, s. 5].

«Жанровый блок *silva*» в эссеистике, диаристике и мемуаристике образует «вертикаль», пронизывающую историю литературы от Античности до современности. Роль польской литературной традиции —

¹ Помимо буквального смысла «...писавшийся ночью» возможны также аллегорические варианты прочтения образа «ночи» у Герлинга метаисторического, метафизического и экзистенциального характера, о чем автор этих строк писал ранее в монографии [5, с. 42–44].



в сохранении форм «сильвичности», распространенных впоследствии на новейший период развития. Сам факт бытования «сильвических» форм в старопольской литературе имеет социокультурную обусловленность, поскольку авторам, вышедшим из шляхты, анархическая «сильвичность» барокко представлялась чем-то более привычным и родным, чем дисциплина классицизма. В XX в. польское тяготение к «сильвическим» формам объясняется уже иными причинами: тем, что авторская точка зрения, выраженная от первого лица, нередко противостояла идеологическим дискурсам литературы, требующим однозначности суждения и выраженным, с одной стороны, в соцреалистической «партийности», а с другой — в политических лозунгах эмиграции.

Список литературы

1. Авл Геллий. Аттические ночи. URL: https://royallib.com/read/avl_gelliy/atticheskie_nochi_knigi_I___X.html#0 (дата обращения: 6.05.2025).
2. Бердяев Н.А. Духи русской революции // Из глубины. Сборник статей о русской революции. Париж, 1997. С. 71 — 106.
3. Мальцев Л.А. В. Гомбрович и В.В. Розанов: борьба с формой // Балтийский филологический курьер. 2005. №5. С. 303 — 311.
4. Мальцев Л.А. Дневник «День за днем» Е. Анджеевского: поэтика «незавершенного произведения» // Вестник Российского государственного университета им. И. Канта. 2010. №8. С. 144 — 149.
5. Мальцев Л.А. Между Россией и Западом: традиция экзистенциализма в творчестве Г. Херлинга-Грудзиньского. Калининград, 2008.
6. Монтень М. де. Опыты. М., 1991.
7. Розанов В.В. О себе и жизни своей. М., 1990.
8. Синявский А.Д. «Опавшие листья» В.В. Розанова. Париж, 1982.
9. Токарчук О. Книги Якова. М., 2023.
10. Andrzejewski J. Z dnia na dzień. Dziennik literacki : w 2 t. T. 1. Warszawa, 1988.
11. Gombrowicz W. Dziennik : w 3 t. Kraków, 1997.
12. Herling-Grudziński G. Pisma zebrane : w 12 t. Warszawa, 1995 — 2002.
13. Mickiewicz A. Dzieła. T. VIII. Literatura słowiaska. Kurs pierwszy. Warszawa, 1997.
14. Miłosz Cz. Historia literatury polskiej do roku 1939. Kraków, 1993.
15. Miłosz Cz. Rosja. Widzenia transoceaniczne. Dostojewski — nasz współczesny. Warszawa, 2010.
16. Modrzewski A. F. Dzieła wszystkie. Warszawa, 1959. T. 5.
17. Nycz R. Sylwy współczesne. Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Łódź, 1984.
18. Rej M. Wybór pism. Warszawa, 1975.
19. Sawicka E. Widok z wieży. Rozmowy z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim. Warszawa, 1997.
20. Skwarczyńska S. Kariera literacka form rodzajowych “silva” // Europejskie związki literatury polskiej. Warszawa, 1969. S. 37 — 75.
21. Windakiewicz S. Mikołaj Rej z Nagłowic. Lublin, 1922.

Об авторах

Леонид Алексеевич Мальцев — д-р филол. наук, проф., Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Россия.

E-mail: lamaltsev23@mail.ru



Иван Демьянович Копцев — д-р филол. наук, проф., Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Россия.

E-mail: IKoptsev@kantiana.ru

L. A. Maltsev, I. D. Koptsev

**"AN EXACT STATEMENT IN EVERYDAY SPEECH":
ON THE ESSAYISTIC "SILVICHNESS" OF POLISH PROSE**

Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russia

Received 06 May 2025

Accepted 21 August 2025

doi: 10.5922/vestnikpsy-2025-4-7

79

To cite this article: Maltsev L.M., Koptsev I.D., 2025, "An exact statement in everyday speech": on the essayistic "silvichness" of Polish prose, *Vestnik of Immanuel Kant Baltic Federal University. Series: Philology, Pedagogy, Psychology*, №4. P. 68–79. doi: 10.5922/vestnikpsy-2025-4-7.

The essayistic tradition of Old Polish prose is examined, represented by authors of the Renaissance (Rey, Górnicki, Modrzejewski), Baroque (Pasek, B. Chmielowski), and Enlightenment (Krasicki) periods. The creator of the Polish essayistic canon was Mikołaj Rey, the author of the book Zerciadło, which Mickiewicz compared to Montaigne's Essays. The role of the essayistic element in the literary diaries of 20th-century Polish writers (Andrzejewski, Gombrowicz, Herling-Grudziński) is considered. It is stated that the tradition of Polish essayism, spanning the Modern and Contemporary periods, is based on the dominance of the "genre block silva" (S. Skwarczyńska), whose genesis in the world literary context goes back to Antiquity, and which in the postclassical period marks a new stage of literary self-consciousness, where the use of "silva" forms acquires the character of artistic play with the reader. In Gombrowicz's Diary, the Old Polish forms of silva rerum are presented in a parodic aspect. Herling-Grudziński's Diary Written at Night, as a collection of comments on what was read, preserves the genre memory of lucubrationes – nocturnal "reflections" presented in the works of the philosopher of Late Antiquity, Aulus Gellius.

Keywords: essay, "silva rerum", Old Polish literature, contemporary Polish literature, journal

The authors

Prof. Leonid A. Maltsev, Immanuel Kant Baltic Federal University, Russia.

E-mail: lamaltsev23@mail.ru

Prof. Ivan Koptsev, Immanuel Kant Baltic Federal University, Russia.

E-mail: IKoptsev@kantiana.ru